

ВЛАДИМИР СОРОКИН

ВЛАДИМИР СОРОКИН



Сахарный КРЕМЛЬ

Санкт-Петербургский филиал
Издательского дома «Лань»
Санкт-Петербург
Лань — часть культуры. Санкт-Петербург
Лань — это искусство.
Лань — это искусство.
Лань — это искусство.



Содержит информацию об авторском праве.
Воспроизведение, распространение или любое
иное использование без письменного разрешения
издателя. Любые нарушения авторских прав
будут преследоваться в судебном порядке.

18+

Владимир Сорокин
Сахарный Кремль

«Corpus (ACT)»

2008

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сорокин В. Г.

Сахарный Кремль / В. Г. Сорокин — «Corpus (АСТ)», 2008

ISBN 978-5-17-103443-6

Сахарный, белый Кремль — сердце России 2020-х, пережившей Красную, Серую и Белую смуты, закрывшейся от внешнего мира и погруженной в сон. Этим сердцем понемножку владеют все, ведь и у скотницы, и у зэка, и у лилипута есть хотя бы осколок его рафинадной копии, но на самом деле оно никому не принадлежит. Пятнадцать новелл из сборника “Сахарный Кремль”, написанных как будто совсем по-разному и о разном, складываются в картину призрачной, обреченной реальности, размокающей, как сахарная башенка в чае. Впервые сборник рассказов “Сахарный Кремль” вышел в 2008 году. Вместе с повестью “День опричника” был номинирован на премию “Большая книга”; в 2009 году получил приз зрительских симпатий премии “НОС”.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-103443-6

© Сорокин В. Г., 2008

© Corpus (АСТ), 2008

Содержание

Марфушина радость	6
Калики	17
Кочерга	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Владимир Сорокин Сахарный Кремль



*Русь, ты вся поцелуй ил морозе!
Синеют ночные дорожи.*

Велимир Хлебников

*Но сколько производя таится в этой тишине,
которая меня так влечет и завораживает!
сколько насилия! сколь обманчив этот покой!*

Астольф де Кюстин.

Россия в 1839 году

Марфушина радость



Зимний луч солнечный сквозь окно заиндевелое пробился, Марфушеньке в нос попал. Открыла глаза Марфуша, чихнула. На самом интересном лучик солнечный разбудил: про заколдованный синий лес Марфуша опять сон видела да про мохнатых шустряков в том лесу. Подмигивали шустряки мохнатые из-за деревьев синих, высовывали языки огненные изо ртов своих горячих, выписывали языками теми на коре деревьев светящиеся иероглифы, да все самые древние-предревные, сложные-пресложные, неведомые и самим китайцам, такие иероглифы, что *тайны* великие и страшные открывают. Душа замирает от сна такого, а видеть его почему-то приятно очень.

Откинула Марфуша ногой одеяло, потянулась, увидала на стене живую картинку с Ильей Муромцем, на долгогривом Сивке-Бурке скачущим, и вспомнила – последнее воскресенье сегодня. Последнее воскресенье рождественской недели. Хорошо-то как! Рождество святое все еще не кончилось! В школу тожко завтра идти. Неделю отдыхала Марфушенька. Семь дней будильник *мягкий* в семь часов не булькал, бабушка за ноги не дергала, папа не ворчал, мама не торопила, ранец с умной машиной спину не тянул.

Встала Марфуша с кровати, зевнула, стукнула в перегородку деревянную:

– Ма-м! Нет ответа.

– Ма-а-ам!

Заворочалась мама за перегородкой:

– Чего тебе?

– Ничего.

– А ничего – так и спи себе, егоза...

Но Марфушеньке спать уж не хочется. Глянула она на окно замерзшее, солнцем озаренное, и вспомнила сразу, *какое* воскресенье сегодня, запрыгала на месте, в ладоши хлопнула:

– Подарочек!

Напомнило солнышко, напомнили узоры морозные на стекле о *главном*:

– Подарочек!

Взвизгнула Марфуша от радости. И испугалась тут же:

– А час-то который?!

Выскочила в рубашечке ночной, с косою расплетенной-растрепанной за перегородку, на часы глянула: полдесятого всего-то! Перекрестилась на иконы:

– Слава тебе, Господи!

Подарочек-то токмо в шесть вечера будет. В шесть вечера, в последнее воскресенье Рождества!

– Да что ж тебе не спится-то? – мама недовольно приподнялась на кровати.

Заворочался, засопел носом лежащий с мамою рядом отец, да не проснулся: вчера поздно пришел с площади Миусской, где торговал своими портсигарами деревянными, а ночью опять стучал стамеской, мастерил колыбельку для будущего братца Марфушиного. Зато бабка на печи сразу проснулась, закашляла, захрипела, сплюнула, бормоча:

– Пресвятая Богородица, прости нас и помилуй...

Увидела Марфушу, зашипела:

– Что ж ты, змея, отцу спать не даешь?

Закашлялся и дед в углу своем, за другой перегородкой. Марфуша в уборную скрылась – от бабки подальше. А то еще в волосы вцепится. Бабка злая. А дедуля добрый, разговорчивый. Мама серьезная, но хорошая. А папаня молчаливый да хмурый всегда. Вот и вся семья Марфушина.

Справила нужду Марфуша, умыла лицо, на себя в зеркало глядя. Нравится Марфуша себе самой: личико белое, без веснушек, волосы русые, ровные, гладкие, глаза серые, в маму, нос маленький, но не курносый, в папу, уши большие, дедушкины, а брови черные, бабушкины. В одиннадцать лет свои Марфуша умеет многое: учится на «хорошо», с умной машиной «на ты», по клавише печатает вслепую, по-китайски уже много слов знает, маме помогает, вышивает крестом и бисером, поет в церкви, молитвы легко учит наизусть, пельмени лепит, полы моет, стирает.

Вытянула из стакана свою щетку зубную в виде дракончика желто-красного, оживила, напоила зубным эликсиром, сунула в рот. Приснул дракончик на язык *мятным-приятным*, набросился на зубы, заурчал. А Марфушенька тем временем расческу в волосы запустила. Занялась расческа *слоеная* работою своей привычной, поползла, жужжа, по русым волосам Марфушиным. Хороши волосы у Марфуши! Гладкие, длинные, шелковистые. Одно удовольствие расческе по таким ползоть. Расчесала она их, вернулась к макушке и принялась косу заплетать. Марфушенька щетку-дракончика изо рта в руку выплюнула, промыла, в стакан поставила. Подмигнул ей дракончик-зубочист глазком огненным и застыл до следующего утра.

А уж на кухне бабушка неугомонная зовет-суетится:

– Марфа, ставь самовар!

– Щас, баб! – крикнула Марфуша ответно, расческу китайскую поторопила:

– Куай-и-дярр!¹

Заурчала расческа громче, замелькали *мягкие* зубья ее в волосах русых побыстрее. Выбрала Марфуша бантик оранжевый и пару вишенок, дождалась, пока расческа дело свое доделает, и через перегородки – на кухню.

По плечу Марфуше наполнить самовар полутораведерный: налила воды, бересту подожгла, кинула в жерло черное, а сверху – шишек сосновых, за которыми они целым классом в Серебряный Бор ездили. Три мешка шишек набрала Марфуша за неделю. Подмога это большая родителям. И Москве-матушке.

¹ Быстрей! (*кут.*)

Затрещала береста, Марфуша поверх шишек пук щепы березовой сунула, патрубок вставила, да другой конец – в дырку в стене. Там, за стеною – труба печная, общая, на весь их шестнадцатэтажный дом. Загудел весело самовар, затрещали шишки.

А бабка уж тут как тут: едва молитву утреннюю прочла, сразу и печь топить принялась. Теперь уже все в Москве печи топят по утрам, готовят обед в печи русской, как Государь повелел. Большая это подмога России и великая экономия газа драгоценного. Любит Марфуша смотреть, как дрова в печи разгораются. Но сегодня – некогда. Сегодня день особый.

В свой уголок Марфуша отправилась, оделась, помолилась быстро, поклонилась живому портрету Государя на стене:

– Здравы будьте, Государь Василий Николаевич!

Улыбается ей Государь, глазами голубыми смотрит приветливо:

– Здравствуй, Марфа Борисовна. Прикосновением руки правой Марфуша умную машину свою оживила:

– Здравствуй, Умница!

Загорается голубой пузырь ответно, подмигивает:

– Здравствуй, Марфуша!

Стучит Марфуша по клавише, входит в интерда, срывает с Древа Учения листки школьных новостей:

Рождественские молебны учащихся церковно-приходских школ.

**Всероссийский конкурс ледяной скульптуры
коня государева Будимира.**

Лыжный забег с китайскими роботами.

Катания на санках с Воробьевых гор.

Почин учащихся 62-й школы.

Зашла Марфуша на последний листок: *Учащиеся церковно-приходской школы № 62 решили и в Светлый Праздник Рождества Христова продолжить патриотическое вспомоществование большевскому кирпичному заводу по государственной программе «Великая Русская Стена».*

Не успела в личные новостушки соскочить, а сзади дед табачным перегаром задышал:

– Доброе утро, попрыгунья! Чего новенького в мире?

– Школьники и в Рождество кирпичи лепят! – отвечает Марфуша.

– Во как! – качает дед головой, на пузырь светящийся смотрит. – Молодцы! Эдак стену к Пасхе закончат!

А сам пальцем Марфушу в бок. Смеется Марфуша, подсмеивается дед в усы седые. Хороший дедушка у Марфуши. Добрый он и разговорчивый. Много, ох, много повидал, много порассказывал внучке о России: и про Смуту Красную, и про Смуту Белую, и про Смуту Серую. И про то, как государев отец, Николай Платонович, Кремль побелить приказал, а мавзолей со смутьяном красным в одночасье снес, и про то, как жгли на площади Красной русские люди паспорта свои заграничные, и про Возрождение Руси, и про героических опричников, врагов внутренних давящих, и про прекрасных детей Государя и Государыни, про волшебные куклы их, и про белого коня Будимира.

Щекочет дед Марфушу бородой своей:

– А ну, егоза, спроси свою Умницу, сколько кирпичей в Стене не хватает?

Спрашивает Марфуша. Отвечает Умница голосом послушным:

– Для завершения Великой Русской Стены осталось положить 62 876 543 кирпича.

Подмигивает дед нравоучительно:

– Вот, внученька, кабы каждый школьник по кирпичику слепил из глины отечественной, тогда бы Государь враз стену закончил, и наступила бы в России счастливая жизнь.

Знает это Марфуша. Знает, что никак не завершат строительство Стены Великой, что мешают враги внешние и внутренние. Что много еще кирпичиков надобно слепить, чтобы счастье всеобщее пришло. Растет, растет Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних – опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой – киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные и просто безбожники растленные, сатанисты, которые под музыку *проклятую* на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты. Про этих мегаонанистов Марфуше подружки рассказывали, что это европейские бесстыдники, которые в подвалах запираются, пьют огненные таблетки и писки себе теребят специальными теребильными машинками. Снились мегаонанисты Марфушеньке уже дважды, ловили ее в подвалах темных, лезли в писю железными крюками электрическими. Страшно...

– Марфа, сходи за хлебом!

Ну вот, придется на улицу идти. Неохота, конечно, с утра, да делать нечего. Натянула Марфуша кофту, накинула шубку свою старенькую, из которой уж выросла, сунула ноги в валенки серые, платок пуховый с печки стянула, на голову накинула.

А бабка ей рубль серебряный сует:

– Возьмешь белого ковригу да черного четвертинку. Сдачу не забудь.

– И мне папирос купи, внученька, – подкручивает усы дед.

– Весь дом и так прокурил... – ворчит бабка, платок на Марфушеньке завязывая.

А дед веселый бабку – пальцем в бок:

– Оки-доки, мы в Бангкоке!

– Вздрагивает бабка, плюется:

– Штоб тебя... черт старый.

Обнимает ее дед веселый сзади за плечи худосочные:

– Не шипи, Змея Тимофеевна! Ужо с пенсии я тебе *насыплю*.

– Ты насыпешь, Пылесос Иванович, жди! – отпихивает его бабка, но дед ловко целует ее в губы.

– Ах ты, волк рваной! – смеется бабка, обнимает его и целует ответно.

Марфуша за дверь выходит.

Лифт по праздникам не работает – не велено управой городской. Спускается Марфуша с девятого этажа пехом, варежкой красной по стенам изрисованным шлепая. Грязновато на пролетах лестничных, мусор валяется, лежит говно кренделями подзасохшими, да это и понятно: дом-то земский, а на земских Государь уже шесть лет как обиду держит. Слава Богу, Малая Бронная от опричников откупилась, а то было б и с ней, как с Остоженкой да с Никитской. Помнит Марфуша, как Никитскую крамольную жгли. Дыму тогда на всю Москву было...

Вышла Марфуша из подъезда. На дворе снег лежит да солнышко на нем блестит. И дети уж всю играют: Сережка Бураков, Света Рогозина, Витька-Слоник, Томило, парень из тринадцатого дома и какие-то *шерстяные* оборванцы с Садового. Играют они уже все Рождество в одно и то же, в опричников и столбовых. «Столбовые» усадьбу построили из снега, засели в ней. «Опричники» их обступили: «Слово и Дело!» «Столбовые» откупаются сосульками. Как токмо сосульки кончаются – «опричники» на приступ усадьбу «столбовых» берут. Вот и сейчас в усадьбу снежки полетели, засвистали «опричники», заулюлюкали:

– Гойда! Гойда!

Идет мимо битвы Марфушенька. В спину ей снежок попадает:

– Марфа, айда с нами лупиться!

Останавливается Марфуша. Подбегают к ней раскрасневшиеся Светка с Томилой:

– Куда прешь?

– Хлеба к завтраку купить надобно.

Шмыгает носом узкоглазый Томило:

– Слышала, на Вспольном мальчишки по-матерному ругаются. На «х» и на «п».

– Ничего себе! – качает головой Марфуша. – А кто донес?

– Сашка-голубятник. Он Сереге позвонил, а Серега отцу своему. Тот – сразу в околоток.

– Молодцы.

– Сыграй с нами один круг! Будешь княгиней Бобринской.

– Не могу. Родители ждут.

Пошла дальше Марфуша.

Из двора выйдя, направилась в лавку Хопрова. Красиво украшена лавка – у входа две елки наряженные стоят, окна все живыми снежинками переливаются, в углу витрины – Дед Мороз со Снегурочкой в санях ледяных едут. Входит Марфуша в лавку, звякает колокольчик медный. А в лавке уж очередь стоит, но небольшая, человек тридцать. Встала Марфуша за каким-то дедом в ватнике китайском, на витрину уставилась. А там, под стеклом, лежит все, чем торговать положено: мясо с косточками и без, утки и куры, колбаса вареная и копченая, молоко цельное и кислое, масло коровье и постное, конфеты «Мишка косолапый» и «Мишка на севере». А еще водка ржаная и пшеничная, сигареты «Родина» и папиросы «Россия», повидло сливовое и яблочное, пряники мятные и простые, сухари с изюмом и без, сахар-песок и кусковой, крупа пшенная и гречневая, хлеб белый и черный. Да, придется ради хлеба и папирос дедушкиных всю очередь отстоять. Вдруг слышит Марфуша в очереди голосок знакомый:

– Полфунта кускового, ковригу черного, четвертинку «Ржаной» и повидла яблочного на гривенник.

Зинка Шмерлина из третьего подъезда. Марфуша сразу к ней:

– Зин, возьми хлеба да папирос.

Черноглазая и черноволосая Зинка нехотя рубль у Марфуши берет. И сразу же очередь оживает:

– А ты чего, торопыха, постоять не можешь?

– Куда без очереди! Не отпускайте ей!

– Нам тоже токмо хлеба купить!

– Ишь, проныра!

Но за прилавком нынче сам Хопров стоит, а он детишек любит:

– Ладно вам собачиться! Не обижайте девку. Куда торопитесь? Все одно завтра на работу пойдете.

Широк хозяин лавки туловом, высок, окладист бородою рыжей, одет в косоворотку красную да в душегрейку овечью. Отпускает Хопров своими руками большими Марфуше папирос и хлеба, сдает сдачу, подмигивает маленьким, жиром заплывшим глазом:

– Лети, стрекоза!

Выходят Марфуша с Зиной из лавки. Зина из семьи небогатой, неблагополучной: отец у нее хоть и мастер по *теплым* роботам, а пьет горькую. А маманя вообще работать не желает. Поэтому и одета Зина бедно – валенки худые, ватник латаный, шапка хоть и песцовая, да старая, заношенная, по всему видать, от старшей сестры Тамары досталась.

– Ты на Красную с Тамарой пойдешь? – спрашивает Марфуша, пакет с хлебом поудобнее перехватывая.

– Не-а, – мотает головой Зина. – Тамарка-дура таперича в Коломне, едет оттудова ночным. Мы с Васькой пойдём.

Вася – младший братик Зины. Хорошо им – два подарка получают. А Марфушеньке надобно ждать, пока братик у мамы родится.

Только два дома прошли по Малой Бронной, глядь, из переулка сам Амоня Киевогородский со псом своим верным электрическим шествует, а за ними – толпа зевак валит. Марфуша блаженного Амоню токмо раз видала, когда его над Трубной площадью на веревках подымали, дабы он беду увидал. Тогда увидал он, что у Государыни второй выкидыш случится из-за сглаза вдовы стрелецкой. С той вдовой тогда круто народ обошелся – проволокли ее по Васильевскому спуску к Москве-реке да под лед баграми и запихнули.

Остановились девочки, смотрят на блаженного. Идет он, сутулый, худой, оборванный, на лягушку чем-то смахивающий, ведет на веревке пса своего электрического по имени Кадэ. На груди у Амони тяжкий крест железный, по плечам – цепи, из ушей дубовые пробки торчат, дабы убережешься от шума людского. Бабушка Марфуше сказывала, что пробки сии вынимает Амоня из ушей токмо раз в год, на Преображение Господне, дабы «услышать шепот света фаворского». Из-за пробок сих дубовых Амоня и не разговаривает, а кричит всегда криком. Вот и сейчас:

– Пути не видно! Идти тёмно!

Хоть и утро стоит солнечное, а не видно Амоне дороги. Останавливается он, останавливается и толпа.

– Посвети! Посвети! – кричит блаженный. Пес Кадэ зажигает очи свои синие, светит Амоне под ноги. Опирается Амоня на посох, голову свою большую к самой земле склоняет, нюхает снег, кричит:

– Чтой-то кровью потягивает! Шевелится толпа вокруг Амони:

– Чья кровушка прольется, Амонечка?

– Кому беречься?

– Куда уползать?

– Где свечки ставить?

– Кому подарки заносить?

Нюхает Амоня снег. Замирают все.

– Малая беда! – выкрикивает он.

Наступает толпа, беспокоится:

– Покажи беду! Покажи беду!

Распрямляется Амоня, из-под бровей своих нависших взоры яростные по сторонам мечет:

– Малая беда! Малая беда!

– Покажи беду! Покажи беду! – надвигается толпа.

Купцы и мещане, оборванцы и нищие, пьяницы и кокошинцы, китайцы-разносчики и татары-сбитеньщики, подростки и детвора, все просят:

– Покажи беду! Покажи беду! Распрямляется Амоня, руку вскидывает:

– Подымите меня!

Засуетилась толпа, кинулись в двери и окна домов близстоящих стучать. Замелькали лица в окнах, а четверо молчаливых сподвижников блаженного из мешков своих заплечных мотки с веревками крепкими вынимают. Миг – и повисли веревки на балконах, зазмеились вниз из окон. Тут же постовой возник, перекрыл Малую Бронную: Амоня подымается! Закон прост: в каком месте столицы Амоня беду показывает, там все сразу замереть должно.

Обвязали Амоню веревками за пояс, встал его пес верный на задние лапы, расступилась толпа. Натягиваются веревки, подымают Амоню, отрывается он от земли.

Замерла толпа. Смотрят все. Поднимают блаженного Амоню над Москвой. Выше и выше. Третий этаж, четвертый, пятый. Шестой.

– Вижу беду малую! – раздается над толпою.

Перестали тянуть за веревки. Завис Амоня Киевогородский между небом и землей. Толпа внизу стоит, не шелохнется. У Марфуши рот раскрылся. Глядит она на зависшего Амоню во все глаза.

– Кровь стрелецкая прольется в Замоскворечье! – вещает с воздуха Амоня. – Задавят в понедельник опричные двух полковников. Но меньшим опалы не будет.

Вздыхнула толпа облегченно: малая то беда, правду Амоня сказал. Среди толпы стрелецких не оказалось. Токмо одна женщина в шубке каракулевой, перекрестившись, из толпы выбежала.

– Опускайте! – вопит Амоня, на веревках содрогаясь.

Опускают его на землю, от пут освобождают. А он сразу же:

– Лечебные!

Из толпы к нему – руки с дарами. Кто деньги дает, кто еду. Сподвижники да пес электрический помогают подарки собирать.

– Я болею! Я боле-е-е-ею! – скорбно кричит Амоня.

Крестятся в толпе и кланяются ему. Крестится Марфушенька, кланяется блаженному. Синие глаза Кадэ на ее кульке с хлебом и папиросами останавливаются. Подходит широкоплечий сподвижник с мешком, молча мешок раскрывает перед Марфушей и Зиной. Покорно опускают девочки в мешок все, что в руках держат.

– Я боле-е-ею! Я боле-е-е-ею!! – вопит Амоня так, что многие в толпе начинают всхлипывать.

Уходит блаженный вниз по Малой Бронной. Валит за ним толпа. А Зина с Марфушенькой оцепенело их глазами провожают.

Свистнул постовой, машины столпившиеся по улице пропуская. Опомнились девочки: надобно снова в лавку идти. У Марфуши-то целых восемьдесят копеек осталось с рубля, а у Зины всего три копейки.

– Надобно родителям сказать, – раздумывает Зина. – Одолжи звоночек?

У Зинки говоруха всегда просрочена.

– Звони, – Марфуша снимает с уха свою говоруху, дает Зинке.

Зинка пристраивает красно-коричневую говоруху к своей мочке:

– «Алконост», два, два, девять, сорок шесть, полста, восемь.

Служба дальнеговорения у семьи Зинкиной самая дешевая – «Алконост». Марфушина семья службу «Сирин» попользуется. Но не потому, что Заварзины много богаче Шмерлиных. Просто полгода назад Марфушин папа вырезал столоничальнику из Палаты Связи киот усадебный со Спасителем да апостолами. И так киот сей столоничальнику понравился, что подвесил он семью Заварзиных на «Сирин» на целых девять бесплатных месяцев.

– Мамуль, я харч весь Амоне блаженному отдала, – говорит Зина.

– Ну и дура, – слышится в ответ. – Отец без водки тебя на порог не пустит.

– У меня три копейки осталось.

– На них и купишь.

Со вздохом возвращает Зинка говоруху:

– Делать нечего, пойду на Пушкинскую горло драть – «Разлуку» петь. Авось подадут на чекушку.

– Ступай с Богом, – кивает Марфуша, а сама опять к лавке поворачивает.

Зинке побираться не впервой. А давать ей денег в долг Марфуша права не имеет.

В лавке за это время очередь еще больше выросла – в последний день праздника у всех харч на исходе. И никого из знакомых в очереди той, как назло. Делать нечего – отстояла Марфуша и снова к Хопрову широкотелому:

– Белого ковригу, черного четвертинку да пачку папирос.

Прищуривает заплывшие глазки лавочник:

– Тю! Так ты ж только что брала, стрекоза. Не хватило твоим? Съели хлеб да обкурились?
– Я, Парамон Кузьмич, все Амоне блаженному отдала.

Чешет бороду рыжую Хопров:

– Вот оно что. Молодец. Сие дело богоугодное.

И помедлив, руку в коробку с леденцами запускает, дает Марфуше:

– Держи.

– Благодарствуйте.

Берет Марфушенька леденцы, хлеб с папиросами и – напрямик домой. Леденец в рот сунула, идет, сосет, торопится, сворачивает с Малой Бронной, а в угловом доме на первом этаже через форточку открытую слышно:

– Ай, не буду! Ай! Ай, не буду!

И розга свистит да шлепает. Сбавила Марфуша шаг, остановилась.

– Ай, не буду! Ой, не буду!

Секут мальчика. Свистит розга, шлепает по голой заднице. Видать, отец сечет. Марфушу папаша никогда не сечет, токмо маманя. Да и то редко, слава Богу. В последний раз – перед Рождеством, когда из-за Марфушиной оплошности две полосы кокоши драгоценного удуло. Сели в тот вечер мама с папою на кухне после трудового дня, нарезали три полосы белых, а Марфуша как раз мусор выносила да дверь-то настезь и распахнула. А на кухне-то форточка, как на грех, открытая была. Потянуло с лестничной клетки из окна разбитого, да так, что весь кокоша – в пыль по углам. Отец с дедом – в крик. Бабка – щипаться. А маманя молча разложила Марфушу на кровати двуспальной да по голой попе прыгалками и посекала. Марфуша плакала, а дед с папой все по кухне ползали, пальцы слюнили, да пыль белую собирали...

Вошла Марфуша в подъезд, а там трое нищих выпивают у батареи. Расстелили себе газету «Возрождение», разложили на ней то, что за утро насобирали, и жуют, распивают бутылку самогона. Но нищие пришлые, не местные, а по виду и вовсе не москвичи: один старый, седой, как лунь, другой чернявый, крепкий, но без ног обеих, а третий – подросток. И самогон они, видать, у китайцев на Пушкинской прикупили: в *мягкой* бутылке самогончик-то.

– Здравствуй-поживай, дочка, – улыбается ей старик.

– И вам не хворать, – бормочет Марфуша, мимо проходя.

Стала по лестнице подниматься, да призадумалась: надо бы дворнику донести. Нищие-то разные бывают. В пятнадцатом доме на Святки пустили ряженных, а те по трем квартирам прошлись с револьверами газовыми да три мешка себе барахла и «наколядовали». Пришлые нищие в лучшем случае на лестнице нагадят, а в худшем – украдут чего-нибудь.

Звонит Марфуша в квартиру дворника на третьем этаже. Открывает дверь дворничиха в бигудях и с папиросой в зубах:

– Чего тебе?

– Там внизу нищие самогонку пьют.

Сказала, а сама – вверх по лестнице бегом. Добралась до своего этажа, в разбитое окно высунулась: что будет? Прошло времени немного, зашумело внизу, хлопнула дверь:

– Ох, родимая моя мамушка! Вываливается из подъезда старик, за зад держась, следом парень выбегает, потом – инвалид на своих утюгах колбасится. А за ними – дворник Андреич с электрической дубиной. Прицелился, пустил молнию синюю инвалиду в огузье. Завизжал инвалид, заматерился:

– Ёб твою проруху-мать!

Грозит ему дворник:

– Сейчас красную пуцу! А потом тебя, охальник, в околоток!

Подхватывают старик с мальчиком инвалида, волокут прочь. Мальчишки дворные им вслед улюлюкают, снежками провожают. Сплювывает красноносый Андреич на снег, складывает дубину, исчезает в подъезде.

Дело полезное, государственное, сделано. Звонит Марфуша довольная в дверь свою. Открывает бабка, от злобы трясется:

– Где ж ты запропастилась, змея?!

Дед, из уборной идучи, подсмеивается за бабкиным плечом:

– Видать, за подружку языком зацепилась!

И отец пасмурный на кухне:

– Марфу токмо за смертью посылать.

– Я Амоню блаженного видала, – оправдывается Марфуша. – Он там на улице поднялся, а потом лечебных попросил. Я ему хлеб с табаком и отдала. Пришлось заново все покупать.

Утихает бабка, ворчит:

– Сподобилось ему, ишь...

– И чего он разглядел? – дед интересуется.

– Стрелецких давить будут.

– И Бог с ними, – машет бабка, хлеб у Марфуши забирая.

– У этих не убудет, – бубнит отец.

– Не убудет, точно! – закуривает дед.

– Вон какие рыла понаели без войны, – зевает простоволосая мать, из ванной выглядывая. – Воронин, морда, на трех «меринах» ездит. Садитесь завтракать, что ли...

Помолились всей семьей Николе Угоднику, позавтракали кашей пшенной с молоком, попили чаю китайского с белым хлебом и повидлом яблочным. Отец поковырялся с портсигарами да пошел на свою Миусскую площадь, торговать. Мама с бабушкой в церковь отправились. Дед с санками поехал на Арбат за дровами. А Марфуша дома осталась – посуду мыть. Перемыла тарелки да горшки, потом себе воротнички школьные постирала да прогладила. А потом села с Умницей играть в «Гоцзе».² Играла до обеда, но *баоцзянь*³ так и не смогла найти. Его же искать-то надобно не в замке, а в подземелье, там, где глиняные воины стоят, а потом оживают да бросаются, да выбираются из-под земли, да ползут к нашей границе. Пока с ними бьешься, *баоцзянь* синим светится, а как одолеешь их – сразу исчезает. Попробуй тут найди его! Зато Колька Башкирцев рассказывал, как *баоцзянь* найдешь – сразу все враги падают замертво, а молодой Государь женится на принцессе Сунь Юн, а для девочек есть *ветка*: свадьба. Там, он сказал, очень красиво, невеста на пиру меняет шесть нарядов, а потом есть еще одна *ветка*, запретная: что молодые ночью в опочивальне творят. Это смотреть *строго* запрещено! И Марфуша это смотреть никогда не будет. А мальчишки, которые *баоцзянь* нашли, смотрят...

Прошло еще пару часов, прокуковала кукушка настенная. Воротились из церкви мама с бабушкой, приполз дед с санками дров, пришел и отец с площади радостный: продал три портсигара. Удача! С почина купил в аптеке золотник *кокоши*. Понюхали они с мамой, бражкой запили, и деду с бабкой немного перепало. Отец-то всегда хмурый, а развеселить его токмо *кокоша* и может. Словно другим он делается – говорливым, непоседливым, задорным. А когда отец задорный – сразу песни поет: «Осень», «Мне малым-мало спалось», «Ясный сокол на снегу», «Кручинушка», «Хазбулат удалой». Сели они с мамой и дедом на кухне петь. Пели и пели, до слез, как всегда. Марфуша тем временем каши теплой наварнула, зашла на школьное Дерево, посмотрела, что завтра в школе предстоит:

1. Закон Божий
2. История России
3. Математика

² «Гоцзе» – «Государственная граница» (*кит.*), компьютерная игра 4D, ставшая популярная в Новой России после известных событий августа 2027 года.

³ Баоцзянь – меч (*кит.*).

4. Китайский язык
5. Труд
6. Хор

Шесть уроков, многовато.

С Законом Божиим Марфуша давно дружит, историю государства Российского читит, китайский учит прилежно, на труде всегда расторопна, хором поет хорошо, а вот математика... Непростая это наука для Марфуши. И учитель, Юрий Витальевич, не прост. Ох, не прост! Высокий он, худой, тонкий, как *баоцзянь*, строгий ужасно. Еще в первом классе, когда арифметику изучали, расхаживал Юрий Витальевич по классу, повторяя своим скрипучим голосом: «Арифметика, дети, большая наука». А уж о математике и говорить нечего... Трудно она Марфуше дается: уже восемнадцать раз ставил ее Юрий Витальевич в угол, семь раз – на колени, четыре раза – на горох сухой.

Полистала Марфуша учебник математики ненавистой, закрыла, на полку сунула. Страшные есть учителя. А есть – хорошие, добросердные. Вот, к примеру, учитель физкультуры Павел Никитич: глянет – червонцем одарит. Любимое у него для девочек – забеги. На 500 сажень, тягом, и на 50 – рывом. Летом – в китаяках, а зимой – на лыжах. Девочки бегут, а он подбадривает:

– Жги, жги, жги!

У Марфуши лучше всего рывом бегать получается, – быстроногая она, хватистая. Дважды на соревнования районные ездила. Четвертое место заняла и шестое.

Побродила Марфуша по интерда, да опять все в свою «Гоцзе» играть принялась. Так время-то до вечера и пронеслось: четыре часа, пять, полшестого. Тут-то сердце у Марфуши и затрепетало: пора! Собрала ее мама, обрядила, новый платок белого пуха повязала, перекрестила на дорогу:

– Ступай, доченька.

Вышла Марфуша во двор, сердце колотится. А по двору из всех шести подъездов уж дети нарядные идут. Тут и Зина Большова, и Стасик Иванов, и Саша Гуляева, и Машка Моркович, и Коляха Козлов. С ними вышла Марфуша на Большую Бронную. А по ней уж другие дети идут – десятки, сотни детей! На Пушкинской площади на Тверскую свернула Марфуша – вся Тверская детьми заполнена. Шагают дети по Тверской в сторону Кремля толпой огромной. Взрослых в толпе совсем нет, не положено им. Они свои подарки уже получили. По краям толпы детской – конные стражники порядка движутся. Идет Марфуша в толпе. Бьется сердце ее, замирает от восторга. Все медленнее движется река детская, все больше в нее детей вливается с улиц да переулков. Вот и Манежная площадь. Перешла ее Марфуша с толпой вместе. Еще шаг, еще, еще – и на брусчатку площади Красной ступил сапожок Марфушин. Двигается толпа медленным шагом, ползет, как гусеница огромная. Красная площадь под ногами Марфуши. Дух всегда захватывает от этой площади. Здесь награждают героев России, здесь же казнят врагов ее. Миг – и зазвенели куранты на башне Спасской: шесть часов! Остановилась река детская, замерла. Смолк гомон. Погасли огни вокруг. И наверху, на облаках зимних лик Государя огромный высветился.

– ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ РОССИИ! – загремело над площадью.

Закричали дети ответно, запрыгали, замахали руками. Запрыгала и Марфуша, Государем любуясь. Улыбается он с облаков, смотрят глаза голубые тепло. Как прекрасен Государь Всея Руси! Как красив и добр! Как мудр и ласков! Как могуч и несокрушим!

– С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, ДЕТИ РОССИИ!

И вдруг, как по щучьему веленью, сквозь облака, сквозь лицо государя тысячи шариков красных вниз опускаются. И к каждому шарiku коробочка блестящая привязана. Ловят дети коробочки, подпрыгивают, тянут шарики к себе. Хватает Марфуша шарик, опустившийся с неба, притягивает к себе коробочку. Хватают коробочки дети, рядом с ней стоящие.

– БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ДЕТИ РОССИИ! – гремит с неба.
Улыбается Государь. И исчезает.

Слезы восторга брызжут из глаз Марфуши. Всхлипывая, прижав коробочку к шубке своей цигейковой, движется она с толпой к Васильевскому спуску мимо храма Василия Блаженного. И как только посвободнее в толпе становится, нетерпеливо раскрывает коробочку блестящую. А в коробочке той – сахарный Кремль! Точное подобие Кремля белокаменного! С башнями, с соборами, с колокольней Ивана Великого! Прижимает Марфуша Кремль сахарный к губам, целует, лижет языком на ходу...

Поздно вечером лежит Марфуша в своей кроватке, зажав в кулачке липком сахарную Спасскую башню. Уютно и Марфуше под одеялом стеганым, и башне сахарной в кулачке девичьем. Токмо вострие башни с орлом двуглавым из кулачка выглядывает. Светит луна в окно заиндевелое, блестит на сахарном орле двуглавым. Смотрит Марфуша на орла, сахаром поблескивающего, и наливаются усталостью веки ее. Большой был день. Хороший. Радостный.

Празднично было вечером в семье Заварзиных: поставили сахарный Кремль на стол, зажгли свечи, разглядывали, разговоры вели. А потом достал папаша молоточек да и расколол Кремль на части – каждую башню отдельно. А Марфушенька башни кремлевские родным раздавала: Боровицкую – отцу, Никольскую – маме, Кутафью – деду, Троицкую – бабке. А Оружейную башню на семейном совете решили не съедать, а оставить до рождения братика Марфушиного. Пусть он ее съест да сил богатырских наберется. Зато стены кремлевские, соборы и колокольню Ивана Великого сами съели, чаем китайским запивая...

Веки смыкая, забирает Марфуша орла двуглавого в рот, кладет на язык, посасывает.
Засыпает счастливым сном.

И снится ей сахарный Государь на белом коне.

Калики

Середина апреля. Подмосковье. Вечереет. Развалины усадьбы Куницына, спаленной опричниками. Сквозь пролом в высоком заборе на территорию усадьбы пролезают калики перехожие – *Софрон*, *Сопля*, *Ванюша* и *Фролович*. Ванюша слепой, Фролович без ноги, Сопля прихрамывает. Из черных развалин дома выбегает стая бродячих собак, лает на калик.

Сопля (*поднимает обломок кирпича, швыряет в собак*). Прочь, крапивное семя!

Ванюша (*останавливается*). И здесь собачки?

Фролович (*свистит, машет костью на собак*). Улю-лю-лю!

Собаки, отлаиваясь, убегают.

Фролович (*устало трет поясницу, оглядывается по сторонам*). Господи, Боже ты наш... А ведь точно, то самое место!

Софрон. Так я ж о чем тебе толкую, братуха. То, то...

Ванюша. Сказывал ты, Софронюшка, крыша медная с петухом, а?

Софрон. Была крыша, была. Вот те крест. (*Крестится*.) И крыша, и терем, и амбары, и сараи, и псарня. И пасека с садом. Шестьдесят ульёв! Все было. А во-о-н там, у ворот стояла сторожка. Там нас с Фроловичем и обогрел добрый человек Алеша. Хозяев-то не было, вот он и пустил к себе на ночь. Добрый человек.

Фролович. Истинно так. Не токмо пустил, но и лапшицы налил. И по яблоку дал. У них в ту осень много яблоков разных уродилось... Да токмо не видать чтой-то ни сторожки, ни сторожа. Вишь, Софроня, разор каков?

Софрон. Как не видать.

Сопля (*громко отсмаркивается*). Все пожгли лихоимцы.

Софрон. Сторожку и ту спалили.

Ванюша. Кто?

Сопля (*недовольно*). Кто-кто... дед Пихто! Опричники, ясное дело.

Софрон. Вон их знак над воротами – эс дэ. Слово и Дело.

Ванюша. На палочке, да?

Сопля (*зло*). На палочке!

Ванюша. И что ж, ничего не осталось?

Софрон. Ни рожна.

Ванюша. А сад?

Фролович. Какой сад?

Ванюша. Ну, где яблоки спели?

Фролович (приглядывается). Да сад-то вроде цел... там вон, за пепелищем. Это, чай, сад, Софронь?

Софрон. Похоже на то.

Ванюша. Люблю сады. Дух в них славный.

Сопля. Дух, дух... Тут ноги гудут, да в брюхе буравцом вертит, а ты – дух!

Софрон. Пожрать не мешало бы. Пожрать и обрадоваться.

Фролович. Как расположимся, так и обустроим кухню. *(Идет к развалинам дома.)* Неуж и впрямь пусто?

Софрон. Кому тут быть? Собаки да воронье.

Ванюша (держась за плечо Сопли). Собачки всегда на погорелье. Им тепло.

Сопля. Какой там тепло... Сожгли-то усадьбу, чай, еще зимой. Чего тут теплого – головешки одни.

Ванюша. А тут же люди жили. Вот собачки и чуют. Там, где человек пожил, там всегда тепло останется.

Фролович. Надобно огонь развести. Ступайте наберите палок, а мы с Ваней супец соорудим.

Ванюша. А яблок нет в саду?

Сопля (идет по развалинам, собирает обгорелые деревяшки). Какие тебе яблоки в апреле!

Ванюша. Когда сад заброшен, яблочки под снегом упрятаться могут. Они же весны ждут, чтобы семена в землю пустить.

Сопля. Ждут не дождутся! *(Смеется.)* Вань, все ж ты блаженный!

Ванюша. Нет, Соплюша, не блажен я. Ибо молюсь мало. Чтобы блаженным стать, надобно молить Господа, чтобы Дух Святой на тебя ниспослал. Когда Дух сойдет, тогда и блаженным станешь. Блаженному человеку ни холод, ни голод не страшны, ибо с ним Дух Святой. А я вот мерзну да есть хочу. *(Смеется.)* Какой же я блаженный!

Сопля и Софрон приносят ворох обломков. Фролович достает газовую зажигалку, разводит костер, устанавливает над ним треножник, навешивает котелок.

Фролович (Софрону). Там сугроб у забора. Ступай, зачерпни.

Софрон берет котелок, зачерпывает снега, возвращается.

Ванюша. Неуж и снежок лежит еще?

Софрон. Лежит, куда денется. *(Подвешивает котелок на треножник, поправляет огонь.)*

Фролович (растILAет перед костром клеенку). Ну, что, вывалим?

Сопля. Кто вывалит, а кто и посмотрит.

Софрон. Да ладно, Сопля. Сегодня тебе не повезло – завтра мне. *(Развязывает свой мешок.)*

Фролович. Тебе, Сопля, что покойный Цао говорил? Не отделяйся. Проси со всеми. Ибо всем дают больше, чем одному.

Софрон. Святая правда. Мудрый человек был Цао. А ты, Сопля, легкой мысли человек.

Фролович. Я без ноги, а и то один не пойду просить!

Фролович. Самсон-культа и тот один теперь не ползает. Времена другие настали! Один в поле не воин. А ты – один да один. Вот тебе и один – без мешка! *(Смеется.)*

Сопля (выходя из себя). Да я что, себе что ль хотел нарубить?! Я ж как лучше хотел!

Софрон. Хотел. И без мешка остался.

Фролович и Софрон смеются.

Сопля. А ну вас...

Ванюша (трогает Соплю). Отняли у тебя мешочек, Соплюша? Ну и Бог с ним. Злых людей много теперь стало. Зло, оно ведь копится, копится, пока добро его не переломит. А на то время надобно... Ты, Соплюша, мой мешок бери. У меня карманы глубокие, я подаянье и в карманы класть могу. Бери!

Софрон. Не в мешке дело, Ваня. Головой соображать надобно.

Сопля. Больно умные вы с Фроловичем. А кто на Пасху вам свинины принес? Кто два кулича принес?! Кто в Мытищах у земских на Крещение полкурицы напел?! Забыли?

Софрон. Во, давай таперича посчитаемся, кто чего напел! Сперва полкурицы напел, а опосля мешок пропел.

Сопля. Да ведь не твой же мешок-то! Не твой!

Фролович. Ладно, хорош собачиться. Садитесь, потрапезничаем.

Фролович и Софрон вываливают на клеенку содержимое трех мешков.

Фролович. Так, вот обглодки куриные из «Курочки рябы». Выбирай-ка их, да в котелок. Во! (*Радостно смеется.*) Много мне зацепить удалось! И без горлодрания досталось!

Софрон. Как ты туда пролез, ума не приложу. Там же привратный всегда стоит.

Фролович. Отошел он, видать, по нужде. А мы ж тогда напротив на заправке пели.

Ванюша. Да. Про Христа-младенца. И не толкнул никто...

Фролович. Я как заприметил, что привратный ушел – сразу в дверь и просочился. Под стол нырнул, глянул – на двух столах четыре тарелки с обглодками!

Сопля. Повезло.

Фролович. Пока девка половая с тележкой своею возюкалась, я подполз, да обглодки – в мешок, в мешок. И крика никто не поднял! Хвать мешок – и в дверь. Токмо меня и видали!

Софрон. Повезло тебе с трапезниками. Я надьсь к китайцам на Пречистенке в сяо шитан⁴ сунулся пошакалить, так меня тут же приметили да электричества в жопу напустили. По запаху опознали, сволочи.

Фролович (кивает). По запаху. Все из-за него...

Сопля. Все беды.

Ванюша. Святая правда. Пахнем мы не так, как все. Вот чистые люди и брезгуют. А вот собачки – наоборот, ласковы с нами. А на чистых людей лают.

Сопля. Далась тебе собачки! Меня псы никогда не любили. Ни когда я чистым ходил, ни теперь. (*Копошится в обедках.*) А это что?

Софрон. Игрушка с подарочком. Мальчонка один сунул.

Сопля. А подарочек есть можно?

Софрон. Не знаю. Дай-кось. (*Берет игрушечного колобка, открывает; внутри – такой же колобок, но поменьше.*)

⁴ Закусочная (*кит.*).

Колобок. Ни ха! Ни хао ма, шагуа?⁵ *лобок.*) Вот Цао бы с тобой поговорил... Нет, сие не съедобно. *(Кидает игрушку в огонь.)*

Софрон. Ни ши шагуа.⁶ *(Закрывает колобок.)* Вот Цао с тобой поговорил... Нет, сие не съедобно. *(Кидает игрушку в огонь.)*

Фролович. Ребята, хлеб отдельно кладите, как всегда.

Сопля. Хлеба много подали.

Софрон. Мда... А денег таперича совсем не подают.

Фролович. Много нищих в Москву поприехало. Вот и не подают.

Ванюша. Фролушка, а почему много нищих стало?

Фролович. Дураки потому что. Все прут в Москву, думают, здесь деньги под ногами валяются.

Софрон. Вань, я ж тебе уже говорил: нищих много, потому как по деревням жечь стали больше. Раньше токмо земских одних жгли, да токмо в Москве. А таперича стали жечь с деревнями вместе, чтобы земский за своих тягловых ответ держал. Понял?

Ванюша. Понял, Софронюшка.

Фролович. А погорельцы – все в Москву и прут! Конечно, подавать перестанут, а как же! На Тверской вон нищих – не протолкнешься! Напасешься разве ж на всех денег?

Ванюша. В Москву погорельцы едут, потому что в Москве людей много. И думают погорельцы так, что у каждого человека милостыню попросить можно. Вот как они думают.

Софрон. Да попросить-то можно. А вот – подаст ли сей человек?

Фролович. У москвичей сердца ледяные. Их слезами не растопишь. А песни наши им даром не нужны.

Софрон. Правда. Песни таперича и не слушают. Год назад слушали, а нынче и не слушают. Верно Цао покойный говорил – уходить надобно из Москвы в Подмоскву. Тут народ посердобольней. Так оно и вышло. В деревне денег не подадут, а хлеба навалят. Ходим по Подмоскве, и слава Богу.

Ванюша. Цао умный был. Помнишь, Соплюша, как он тебе говорил: «Лучше не воровать, а просить»?

Сопля (суетится вокруг закипающего котелка). Да помню, помню... во, закипел. Просить-то завсегда безопасней. Но выпить тоже хочется. А водки подавать не принято.

⁵ Привет! Как поживаешь, дурак? *(кит.)*

⁶ Сам дурак *(кит.)*.

Софрон. Господи, сдалась тебе эта водка! Дня не было, чтобы про водку эту поганую не говорил.

Фролович. От водки голова гудит и ноги слабнут.

Ванюша. Мой папаша покойный водку любил. Горькая она.

Софрон. Горькая, невкусная. Как ее пьют... не понятно.

Фролович. Человече все в рот тащит.

Сопля. А я люблю водочки выпить. Особенно зимой. От нее теплота по жилкам разливается.

Софрон. Деньги токмо на нее переводить. Гадость и есть гадость. А толку никакого. Ну что, братцы, обрадуемся?

Фролович, Ванюша, Сопля (готовя ложки, двигаются к котелку). Обрадуемся.

Софрон достает тряпицу, разворачивает; в тряпице лежит упаковка с мягкими ампулами; на упаковке *живое* изображение: на лысой голове человека вдруг начинают расти цветы, человек улыбается, открывает рот и изо рта вылетают два золотых иероглифа синфу.⁷

Фролович. Сколько?

Софрон (со вздохом). Семь.

Сопля. На два обеда не хватит.

Ванюша. Как – семь? Было же десять?

Софрон. Три вчера фараонам отдали в Перхушково, возле харчевни. Не помнишь?

Ванюша. Вчера?

Софрон. Вчера. Когда вы с Фроловичем пели про Кудеяра-атамана.

Фролович. Так он же не видал. Фараоны подошли, Софроня молча им три штуки и сунул. Чтоб не мешали. Они и отвалили.

Ванюша. Да. Стало быть, не видал я. А вы и не сказали.

Фролович. А чего зря языком ворочать?

Сопля снимает котелок с огня, Софрон кладет на середину клеенки обломок доски, Сопля ставит на него котелок. Фролович достает ложки, раздает.

⁷ Счастье (*кит.*)

Софрон. Ну, что, братцы, кинем пять, а две оставим? Или кинем все семь?

Фролович. Две нас завтра все одно не спасут. Обидимся.

Сопля. Обидимся.

Софрон. Обидимся.

Ванюша. Семь – не многовато ли?

Софрон. Круче заберет. В самый раз.

Ванюша. Как знаешь, Софронюшка.

Софрон разрывает ампулы, вытряхивает их содержимое в похлебку; достает пузырек с темно-красной жидкостью, капают в котелок семьдесят капель.

Софрон (Сопле). Давай сахар.

Сопля роется по карманам, достает целлофановый пакет и обнаруживает, что он пуст.

Софрон. Где сахар?

Сопля (шарит по карманам). Господи, я ж пакет не завязал... высыпался...

Фролович. А в кармане?

Сопля выворачивает карман; на конце кармана дырка.

Сопля. Утек сахарок... Простите, братцы.

Фролович бьет Соплю костылем.

Софрон. Гаденыш! Как мы жрать будем?!

Сопля. Простите, братцы, не со зла. Не со зла я. Не со зла.

Фролович. Вот гад! Ну, что тебе доверить можно?! Где мы таперича сахару возьмем?! А ну – хромай на станцию за сахаром! Живо, гнида!

Ванюша. У меня есть сахар.

Софрон. Какой? Откуда?

Ванюша. Так у меня ж башенка сахарная. Помните? Девочка подала во Внукове на рынке. (*Лезет в карман, достает башню от сахарного Кремля.*) Мы ж ее сохранить решили.

Зрячие молча смотрят на башню.

Ванюша. Софронюшка, кинь ее в суп.

Софрон. А не жалко? Красивая ведь.

Ванюша. Так я все равно не вижу. Чего жалеть?

Софрон молча берет сахарную башню, опускает в похлебку.

Фролович. Ничего, еще подадут... Помешать надобно, чтобы разошлась... сахарок-то крепкий... (*Перемешивает похлебку.*)

Ванюша. Добрая девочка. Говорила громко. Может, глухая?

Сопля. Глухие недобрые. Злые они все, Вань. И не подают. Меня раз на Пушкинской глухие избили... Фролович, дай-кось я помешаю.

Фролович. Сиди, оглоед.

Софрон (оглядывается). Ишь, стемнело как быстро.

Пауза. Калики сидят молча. Фролович помешивает суп. Костер потрескивает. Где-то неподалеку поскуливает собака.

Фролович (вылавливает ложкой кусочек растворившейся в супе башни). Во! Разошлась. (*Кладет ложку.*) Помолимся, братцы.

Все кладут ложки на клеенку, встают.

Калики. Пошли нам, Боже, и завтра то же.

Крестятся, садятся, берут ложки, куски хлеба, начинают есть суп. Сначала жадно и быстро выхлебывают жижку, потом вылавливают из котла куриные обьедки, обгладывают не торопясь, хрустят костями. Постепенно движения их начинают замедляться. Калики улыбаются, перемигиваются, бормоча что-то, раскачиваются, трогают друг друга за носы, смеются. Потом ложатся на землю вокруг костра и быстро засыпают. Угасающий огонь освещает их лица. Калики улыбаются во сне. Костер гаснет. Через некоторое время к спящим осторожно подходит собака, долго принюхивается, хватает с клеенки куриную кость и убегает.

Кочерга

Капитан госбезопасности Севастьянов приехал на работу в Тайный Приказ к 10.00. Поднявшись в свой кабинет на 4-й этаж, он послал персональный ТК-сигнал о прибытии, *вошел* в обстановку, съел бутерброд с сычуаньской ветчиной, тульский имбирный пряник, выпил стакан зеленого китайского чая «Тень дракона», просмотрел новости сначала в Русской Сети, потом в Зарубежной, помолился у иконы Георгия Победоносца, взял стандартный стальной сундучок с оборудованием для проведения допроса, прозванный на Лубянке «несмеяной», позвонил во внутреннюю тюрьму, чтобы подследственного № 318 доставили в подвальную камеру № 40, вышел из своего кабинета, запер его и поехал на лифте вниз, в -5-й, подвальный этаж.

Севастьянов был невысоким, широкоплечим сорокалетним мужчиной с лысеющей головой и моложавым, чернобровым и черноусым лицом. Ему шла черная тайноприказная форма с красным кантом, голубыми погонами, тремя орденскими планками, золотым знаком «370-летие РТП⁸», стальным знаком «10 лет безупречной службы» и серебристыми пуговицами с двуглавыми орлами. Сапоги капитана Севастьянова всегда сияли и никогда не скрипели. Он был женат, имел двенадцатилетнего сына и четырехлетнюю дочку.

Спустившись на этаж -5, он подошел к посту внутренней охраны, приложил свою правую ладонь к светящемуся белому квадрату на стальной тумбе. Перед прапорщиком охраны в воздухе повис пропуск Севастьянова с его званием, должностью и послужным списком. Прапорщик нажал кнопку, решетка поехала в сторону. Севастьянов пошел по бетонному коридору, помахивая «несмеяной» и насвистывая русский романс «Снился мне сад». Подойдя к камере № 40, он повернул влево ручку замка, открыл дверь, вошел. В двенадцатиметровой камере сидели двое: младший сержант конвойных войск и подследственный Смирнов. Сержант тут же встал, отдал честь Севастьянову:

– Товарищ капитан государственной безопасности, подследственный Смирнов доставлен для проведения допроса.

– Свободен, – кивнул Севастьянов.

Сержант вышел из камеры, запер дверь снаружи. Севастьянов подошел к небольшому металлическому столу с боковым подстольем, поставил на подстолье «несмеяну», сел на стул, достал мобило, сигареты «Родина», зажигалку, положил на стол. Подследственный сидел на стальном стуле, укрепленном в бетонном полу и имеющим вместо спинки швеллер в человеческий рост. Руки подследственного были сцеплены сзади мягкими наручниками и захлестнуты за швеллер. Подследственный Смирнов был худощавым, сутулым двадцативосьмилетним мужчиной с длинными руками и ногами, кучерявой темно-русой шевелюрой, узким, заросшим бородой лицом с большими серыми глазами. Сидя на стальном стуле с руками назад, он смотрел себе на колени.

Севастьянов распечатал пачку «Родины», вытянул сигарету, закурил. Вызвал в мобиле искру допуска. В поверхности стола приоткрылся прямоугольник, выдвинулась клавиатура умной машины. Севастьянов оживил ее. Над столом повисла голограмма:

ДЕЛО № 129/200

Это было дело Смирнова. Севастьянов полистал полупрозрачные страницы, куря и стряхивая пепел на пол. Загасил окурочок о торец стола, кинул на пол, сцепил руки замком и с улыбкой посмотрел на подследственного:

– Здравствуйте, Андрей Андреевич.

⁸ Российский Тайный Приказ.

– Здравствуйте, – поднял глаза Смирнов.

– Как вы себя чувствуете?

– Спасибо, ничего.

– На условия содержания имеются жалобы?

Смирнов задумался, скосил взгляд в сторону:

– Почто меня арестовали?

Следователь вздохнул, сделал паузу:

– Андрей Андреевич, я вам задал вопрос: есть жалобы на условия содержания?

– Много людей в камере. Зело, – пробормотал подследственный, не поднимая глаз.

– Много людей? – вопросительно поднял свои густые черные брови Севастьянов.

– Да. Мест двенадцать, а сидят восемнадцать. Спим по очереди.

– Вы плохо спали?

– Эту ночь выспался. А прошлую... совсем не спал.

– Ясно, – задумчиво кивнул головой Севастьянов. – Значит, говорите, зело много подследственных в камере?

– Да.

Следователь выдержал паузу, повертел в руке узкую лазерную зажигалку.

– А как вы думаете – отчего в вашей камере много подследственных?

– Не только в нашей. В других тоже. К нам подселили вчера двух, они сидели в разных камерах. И там тоже спали все по очереди. Лебединский сказал, что камеры все переполнены.

– Вот как? – удивленно воскликнул Севастьянов, вставая. – Камеры все переполнены?

– Да, – кивнул, глядя в пол, подследственный.

Следователь подошел к нему, заложив руки за спину, озабоченно покусывая губу, потом резко развернулся, отошел к двери и встал, покачиваясь на носках идеально начищенных сапог:

– Андрей Андреевич, а как вы думаете – отчего камеры Лубянки переполнены?

– Не знаю, – быстро ответил подследственный.

– Ну, у вас имеются хоть какие-то предположения?

– Почто меня арестовали? Почему мне не дают звонить домой?

Севастьянов повернулся:

– Дорогой Андрей Андреич, я сюда и пришел для того, чтобы объяснить вам, почто вас арестовали. Я обязательно, всенепременно сделаю это. Но вы не отвечаете на мой вполне безобидный вопрос: отчего, на ваш взгляд, камеры Лубянки переполнены?

– Я не знаю... ну... наверно, мало камер, а арестованных слишком много... не знаю... – забормотал Смирнов.

– Вот! – поднял палец Севастьянов. – Слишком много арестованных. А почему их слишком много?

– Не знаю. Наверно... следователи не успевают... или медленно работают... мало свободных камер... тюрьма старая...

Следователь отрицательно покачал головой:

– Вы ошибаетесь. Тюрьму перестроили и углубили четыре года назад. Помещений хватает. И работаем мы не медленно. Не в этом причина, Андрей Андреевич. А причина в том, что по мере укрепления и расцвета нашего государства преступников, к сожалению, не становится меньше. Но наоборот. Их становится больше. И знаете почему?

Подследственный отрицательно мотнул кучерявой головой.

– Вы помните Пасхальное обращение государя к народу?

– Да, конечно.

Следователь вернулся к столу, нашел в своем мобилье речь государя, вызвал голограмму. И в камере появилось живое лицо государя, обращающегося к своему народу:

– Едва вынырнула Россия из омута Смуты Красной, едва восстала из тумана Смуты Белой, едва поднялась с колен, отгораживаясь от чужеродного извне, от бесовского изнутри, – так и полезли на Россию враги Родины нашей, внешние и внутренние. Ибо великая идея порождает и великое сопротивление ей. И ежели внешним врагам уготовано в бессильной злобе грызть гранит Великой Русской Стены, то внутренние враги России изливают яд свой тайно.

Севастьянов выключил голограмму:

– Помните, Андрей Андреич?

Подследственный кивнул.

– Внутренние враги России изливают яд свой тайно, – повторил следователь. – Вот вам, Андрей Андреич, и ответ на ваш вопрос: за что меня арестовали.

– Я не враг России.

– Вы не враг России? А кто же вы?

– Я... Я гражданин России. Верноподданный государя.

– Значит, вы – друг России?

– Я гражданин России.

– Да что вы заладили – гражданин да гражданин... Все мы граждане России. Убийца – тоже гражданин России. И вредитель – тоже гражданин. Я вас спрашиваю: вы друг России или враг?

– Друг.

– Друг?

– Друг, – кивнул Смирнов, облизывая пересохшие губы и поводя худощавым плечом.

– Отлично, – кивнул Севастьянов, полистал дело Смирнова, извлек из него текст, увеличил, подсветил красным.

В воздухе камеры повисли красные строчки.

– Узнаете? – кивнул следователь.

– Нет... – сощурился Смирнов и опустил голову. – Я вижу плохо...

– Я вам помогу.

Следователь сел за стол и принялся читать ровным громким голосом:

Кочерга

Русская народная сказочка

Жила-была кочерга. Ворошила она угольки в печке, выгребала золу, поправляла поленья, ежели они горели неправильно. Много угольков она переворошила, много золы повыгребла. Надоело ей у печки жить, опротивело угли горячие ворошить, наскучило золу серую выгребать. И порешила кочерга из дому сбежать, дабы найти себе работу полегче, почише да поприятней. Как токмо вечером прогорела печка, поворошила кочерга угольки, выгребла золу. А потом взяла да и ушла из дому. Переночевала в крапиве, а утром и пошла по дороге. Идет, кругом осматривается. Глядь – идет навстречу кочерге повар:

– Здравствуй, кочерга.

– Здравствуй, человек.

– Куда путь держишь?

– Ищу себе работу.

– Ступай ко мне.

– А что я делать должна?

– Будешь ты угли к котлам-сковородам подгребать да отгребать, за огнем смотреть, чтобы жаркое не подгорало, чтобы суп не выкипал, будешь печь под пироги вычищать.

– Нет, это дело не по мне. Мне б чего полегче, почище да поприятней найти.

– Ну, тогда прощай, кочерга.

– Прощай, человек.

Пошла кочерга дальше по дороге. Глядь – навстречу ей сталевар:

– Здравствуй, кочерга.

– Здравствуй, человек.

– Куда путь держишь?

– Ищу себе работу.

– Ступай ко мне.

– А что я делать должна?

– Будешь со мной сталь варить: уголь в домну задвигать, за огнем следить, стальную корку пробивать, жидкую сталь из домны выпускать.

– Нет, это дело не по мне. Мне б чего полегче, почище да поприятней найти.

– Ну, тогда прощай, кочерга.

– Прощай, человек.

Пошла кочерга дальше по дороге. Глядь – навстречу ей майор из Тайного Приказа.

– Здравствуй, кочерга.

– Здравствуй, человек.

– Куда путь держишь?

– Ищу себе работу.

– Ступай ко мне.

– А что я делать должна?

– Будешь вместе со мной врагов народа пытаться: пятки им жечь, мудя прижигать, на жопу государственное тавро ставить. Работа чистая, легкая и веселая.

Подумала, подумала кочерга и согласилась. С тех самых пор работает она в Тайном Приказе.

Следователь закрыл дело, убрал изображение, вытянул сигарету из пачки, закурил:

– Вот такая милая «русская народная сказочка». Знакома она вам?

Подследственный отрицательно покачал головой.

– Ну, а что же мы это так покраснели? А, Андрей Андреич? Другие бледнеют, а вы вот покраснели. Как-то это по-детски... Что ж, у каждого своя реакция на ложь. Токмо профессионалы не краснеют и не бледнеют, бо творят дело государственное, великое. А вы – любитель. И творите вы дело вражеское, тайное, пакостное. Разрушительное. И ваша душа, созданная по образу и подобию Божиему, противится сему разрушительному делу, ибо разрушаете вы не токмо государство Российское, но и душу свою заблудшую. Посему и краснеют ланиты ваши.

– Я не писал сего... – пробормотал Смирнов.

– Ты не токмо писал сие, но и распространял округ себя, одесную и ошую, яко яд смердящий, злобой лютой брызжущий, – произнес следователь, открывая «несмеяну».

– Яне писал, – поднял плечи Смирнов, глядя в пол. – Сие писал не я.

– Писал, писал. И писал-то на бумаге, по-старинке, не по Клаве Ивановне стучал. Разумно: коли б ты в Сети такое подвесил, тебя бы в один момент к ногтю прибрали, аки гниду беременную. Но ты накорябал сей пасквиль на бумаге. Дабы следы запутать. Но мы, – Сева-

стьянов вынул из «несмеяны» безыгольный инъектор, – следопыты опытные. И не такие петли распутывали. Гончий пес что творит, коли зверь хитрит? Вперед, стрелой к норе летит. Вот так, Соколов... то есть Смирнов.

Следователь вставил в инъектор ампулу, подошел к подследственному. Тот явно забеспокоился: худые колени его дрогнули, сжались, кудрявая голова ушла в плечи.

– Я ничего не делал, я ничего не делал... – забормотал Смирнов, сутулясь все сильнее и склоняя голову к своим длинным ногам.

– Делал, делал, – Севастьянов взял левой рукой его за шевелюру. – Меня, Андрей Андреич, вот что интересует: кому ты давал читать свою сказочку?

– Я не писал, – глухо проговорил Смирнов в колени.

– Еще раз повторяю: кому ты давал читать сей пасквиль?

– Никому... не писал я... – задрожал голос подследственного.

Севастьянов вздохнул, глянул в потолок с большим плоским матовым плафоном:

– Послушай, ты же мне через пять минут все равно все скажешь, всех назовешь. Но я даю тебе последний, как говорят в Европе, шанс. Назови. И я тебя отпущу в камеру, а в дело пойдет твое желание помочь следствию. И тебе облегченье, и мне. А?

Плечи Смирнова начали мелко вздрагивать.

– Я невиновный... мне подбросили... У меня дома и бумаги нет... книжки токмо... нет бумаги, не держу бумаги...

– Что ж ты за зануда такая? – с обидой в голосе вздохнул Севастьянов.

– Не мучьте меня... Я ничего не сделал...

– Да никто не собирается тебя мучить. Ты думаешь, я тебя на дыбу подвешу, начну плетью бычьей по яйцам сечь? Ошибаешься, Смирнов. На дыбе у нас токмо опричники пытаются. Ну, такое у них правило, что подделаешь. Они в открытую Слово и Дело творят, бо должны на врагов государства страх наводить, посеми и зверствуют. А мы, тайноприказные, люди культурные. Мы кнутом по яйцам не стегаем.

– Это не я... мне подбросили... – бормотал Смирнов.

– Скажи еще – подбросили враги, – зевнул следователь.

– Подбросили... подкинули...

– А ты с перепугу другим стал подбрасывать?

– Я ничего не сделал... Я ничего не знаю...

– Черт с тобой, дурак.

Резким движением Севастьянов задрал голову Смирнову, приставил инъектор к сонной артерии и нажал спуск. Чпокнула раздавленная мягкая ампула, инъекция вошла в кровь подследственного. Тело Смирнова дернулось, он вскрикнул и замер, окостенев. Его большие серые глаза округлились и остекленели, став еще больше. Губы раскрылись и замерли в немом вопросе. Его словно укусил невидимый гигантский скорпион. Мелкая дрожь овладела худощавой фигурой подследственного, замершего в напряженной позе. Севастьянов отпустил его волосы, отошел к столу, вложил инъектор в «несмеяну». Вытянул из пачки сигарету, закурил.

Мобило издало тонкий, переливчатый сигнал.

– Капитан Севастьянов слушает, – ответил следователь, убирая сигарету в пепельницу.

Над мобилой возникло изображение полковника Самохвалова:

– Николай, приветствую.

– Здравия желаю, товарищ полковник.

– А, ты работаешь... – осмотрелся полковник. – Ладно, не буду мешать.

– Да вы не мешаете, товарищ полковник.

– Я хотел, чтобы ты помог Шмулевичу в том деле с коровой. Он zelo глубоко увяз, а доброободряющих сдвигов нет.

– Токмо прикажите, – улыбнулся Севастьянов. – Поможем.

– Возьмись, Коль. А то с меня Архипов требует, аки пытарь хунаньский. Третья неделя безуспешности убогой, мать ее в сухой хрящ. В общем, озадачься. Приказ метну.

– Слушаюсь, товарищ полковник.

– Ну, будь здоров, – с усталой улыбкой подмигнул Самохвалов и исчез.

Капитан взял сигарету, затаился, пристально посмотрел на застывшего подследственного. Затем вынул из «несмеяны» маленький молоточек, поигрывая им, докурил, загасил окурок и подошел к подследственному.

– Ну, как ты, Смирнов? – спросил капитан, приглаживая усы.

– Я... я... я... – слышалось из приоткрытых, побелевших губ.

– Ты понял, что стал хрустальным?

– Я... да... я...

– Ты хрустальный, Смирнов. Смотри, – капитан слегка стукнул по его плечу молоточком.

Молоточек издал тонкий звон, как при ударе о стекло. Капитан ударил молоточком по колену Смирнова. Молоточек снова зазвенел. Капитан ударил по другому колену. Потом по руке. Потом по бледному, вспотевшему носу подследственного.

Молоточек звенел.

Ужас заполнил глаза подследственного до предела. Дрожь оставила его, он замер, не дыша.

– Ваза ты наша дорогая, – улыбнулся Севастьянов, заглядывая в обезумевшие глаза подследственного. – Гусь ты наш хрустальный. Все у тебя из хрусталя прозрачного – и ноги, и руки, и внутренние органы. Печень, почки, селезенка – все хрустальное. Даже прямая кишка – и то звенит! А уж яйца звенят, аки колокольцы валдайские. Удивительный ты человек, Смирнов!

Подследственный сидел недвижно, как экспонат из музея восковых фигур.

– Сейчас будет для тебя подарок.

Следователь вернулся к столу, постучал по клавишам. В камере с грозным ревом возникла яркая, убедительная голограмма мускулистого, голого по пояс детины с увесистым молотом. Детина ревел, скалился и угрожающе поигрывал молотом.

– Вот что, Ваня, – следователь положил руку на мощное плечо молотобойца, – давай-ка мы этого хрустального интеллигента разобьем на куски, а? Чтобы он больше не вредил России.

– Давай! – ощерился молотобоец.

– А-а-а... не-е-е-ет... а... я... – слабо донеслось изо рта подследственного.

– Что – нет? – склонился Севастьянов.

Но Иван уже с ревом заносил свой молот.

– Не-е-е-ет... – захрипел Смирнов.

Молот со свистом описал дугу и замер в сантиметре от головы подследственного.

– Называй, гад! – зашипел следователь, хватая Смирнова за ухо. – Живо!

– Руденский... Попов... Хохловы... Бо... Бойко... – зашевелил губами подследственный.

– Мало, мало!

Молотобоец снова заревел, размахиваясь. Молот описал круг и снова замер над оцепеневшим подследственным.

– Называй! Называй! – следователь тянул Смирнова за ухо.

– Горбачевский... Кло... Клопин... Монаховы... Бронштейн... Голь... Гольдштейны...

– Называй! Называй!

– Бы... Быков... Янко... Николаевы... Те... Теслеры... Павлова... Горская... Рохлин... Пин-хасов... Дю... Дюкова... Валериус... Бобринская... Сумароков... Клопин... Бронштейн... Гольдштейн.

– Этых ты уже называл. Хватит.

Следователь отпустил ухо подследственного, облегченно вздохнул, вернулся к столу, сел, закурил. Сигаретный дым поплыл сквозь замершего с молотом Ивана.

– Спасибо, Ваня, – подмигнул следователь.

– Рад стараться! – улыбнулся Иван и исчез.

Смирнов сидел в той же нелепой позе, согнувшись и запрокинув голову. Севастьянов пощелкал клавишами, названные фамилии *влипли* в дело, засветились оранжевым.

– Ну, вот, хоть что-то... – следователь приводил в порядок дело.

Он докурил, взял из «несмеяны» инъектор, вставил ампулу, подошел к подследственному и сделал ему инъекцию в шею. Тело Смирнова расслабилось, голова упала на колени. Пока Севастьянов курил, подследственный приходил в себя.

– Ну, вот, ну, вот... – пощелкивал клавишами Севастьянов. – Все, как говорится, в печке.

Подследственный поднял голову:

– Пить... дайте.

– Дам, – кивнул Севастьянов, нажал кнопку.

Вошел конвоир.

– Принесите подследственному воды. Конвоир принес пластиковую бутылку с родниковой водой «Алтай» и пластиковый стакан, поставил на стол, вышел. Севастьянов закрыл дело, налил воды в стакан, подошел к Смирнову и поднес стакан к его пересохшим губам. Подследственный жадно, в три глотка втянул в себя воду.

– Еще? – спросил Севастьянов. Смирнов кивнул. Следователь наполнил второй стакан. Смирнов выпил. Потом выпил и третий. Бутылка опустела. Севастьянов швырнул ее и стакан в урну. Глянул на часы:

– Так.

Потер ладонями свои гладковыбритые щеки:

– Вот что, Андрей Андреич. С одnodумца-ми твоими ясно. С бумажкой тоже. Остается токмо один вопросик.

Смирнов поднял на него свои серые, опустошенные глаза.

– Кочерга! – подмигнул ему Севастьянов и огладил усы.

Смирнов тупо смотрел на него.

– Кочерга, – Севастьянов резко, с каблучным скрипом развернулся на месте, шагнул к столу, выдвинул в нем металлический ящик.

В ящике лежала кочерга. Севастьянов взял ее, показал Смирнову:

– Твоя?

– Не знаю.

Севастьянов подошел, поднес кочергу к лицу подследственного:

– Твоя?

– Ну...

– Без «ну»!

– Моя...

– Правильно, твоя. Та самая, которую ты описал в своей сказочке. Как там у тебя: жила-была Кочерга Ивановна. Жила, жила она у отщепенца Соко... тьфу, Смирнова, да и сбежала. К нам. В Тайный Приказ. И служит теперь у нас, стало быть. А мы ей ха-а-ароший оклад определили. И пенсию обеспечим приличную, не сомневайся.

Севастьянов вынул из «несмеяны» миниатюрный лазер, поднес к пятке кочерги, включил. Красный луч уперся в пятку, она стала быстро нагреваться. Севастьянов принялся равномерно водить лучом по железной пятке:

– Ты, Андрей Андреич, человек православный, образованный. Понимать ты должен: каждый из нас за все ответственен. И за дела, и за слова. Ибо каждое дело на слово опирается. Там, где слово, там и дело.

Пятка кочерги раскалилась докрасна. В камере запахло кузницей.

Следователь выключил лазер, убрал в «несмеяну». Подошел к подследственному, схватил его за щиколотку ноги и резко задрал ногу вверх.

– Не-ет... – выдохнул Смирнов.

Севастьянов прижал пятку кочерги к худосочной ягодице подследственного. Красный раскаленный металл моментально прожег грубую мешковину тюремных штанов, с шипением впился в плоть. Смирнов завопил, задергался. Но Севастьянов крепко держал его ногу, надавливая на кочергу. Когда она перестала шипеть, он отпустил Смирнова. Тот, продолжая вопить, сучил и притопывал ногами, дергался, тряся кудрявой головой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.